

Толстой Л. Н.

Воспоминания о суде над солдатом

Толстой Л. Н. [Воспоминания о суде над солдатом] // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 тт. Т. 37. М.: Гос. изд. «Художественная литература», 1956. С. 67–75. 1908 г.

Милый друг Павел Иванович.

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и пережито мною в связи с тем случаем моей защиты солдата, о котором вы пишете в своей книге. Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как всё это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нем.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистической жизнью. Летом 1866 года нас посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцов, кадетом еще ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служил в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой, казачьей лошадкой, на которой он любил гарцовать, и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым командиром, полковником Юношей, и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем, родным братом известного редактора, служившем в этом же полку. Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведен в прапорщики и поступил в полк к бывшему своему товарищу Юноше, теперь его главному начальнику. И тот и другой, Юноша и Стасюлевич, тоже изредка езжали к нам. Юноша был толстый, румяный, добродушный, холостой еще человек. Он был один из тех так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Юноши условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно еще, каким бы он был, если стал бы человеком и перестал бы быть полковником, профессором, министром, судьей, журналистом. Так это было и с полковником Юношей. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель, но какой он был человек – нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек,

тяжело переживал. Так мне казалось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни, и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжелую шинель и в этой шинели вошел в реку и утонул, когда дошел до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцов или Стасюлевич, в один день летом приехав к нам, рассказал про случившееся у них для военных людей самое ужасное и необыкновенное событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с сочувствием к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка: смертная казнь, всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманным, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь, как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не разрушают во мне сознания невозможности их совершения.

Я понимал и понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя, может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя опасности смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей – этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому я, как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озерки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении, или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, что очень редко в солдате, человеком с самым простым, не переменяющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцовым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно, по-солдатски отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. «Уж очень он на меня налегал», сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял тогда причину его поступка, она была в том, что ротный командир его, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довел его до высшей степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку: отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни делал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, с своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорблял его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, всё больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высшей степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и наказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был Юноша, двумя членами были Колокольцов и Стасюлевич. Привели подсудимого. После не помню каких-то формальностей я прочел свою речь, которую мне не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи с очевидно скрываемой только приличием скукой слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то и такие-то статьи такого-то тома, и когда всё было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой статьи, которую я приводил, то есть за оправдание подсудимого вследствие признания его невменяемым. Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, все-таки подчинился Юноше, и его голос решил вопрос. И был прочтен приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося ее ходатайствовать перед государем – государем тогда был Александр II – о помиловании Шибунина. Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь уже была совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казненному совершенно верны.

Да, ужасно, возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как сослаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что, вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, и что, вследствие всего этого, они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, – то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, – это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого – это знают все люди, и этого доказывать нельзя, потому что не нужно, а можно и нужно и должно только одно: постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это – всё равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе: не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой, давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями.

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Юноша и Гриша Колокольцов с своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через Толстую ходатайствовал у государя о помиловании Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был, – о том, что всё, что совершалось над Шибуниным, было вполне нормально и что также нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом деле того человека, которого называли государем. И я просил этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по «закону») уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я еще ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в

основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал еще тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни [и] какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет никакой причины, по какой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям убивать друг друга. Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства церковью и наукою, вместо достижения своей цели: оправдания, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже, когда видел издали смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле. Но мне всё еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный.

Только гораздо позднее, когда уже я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел те явные и грубые обманы, которыми и церковь и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, которыми объясняется необходимость и законность убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди – не убий – люди с первых же строк научаются убивать.

«В. Что запрещается в шестой заповеди?

О. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1) когда преступника наказывают по правосудию, 2) когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество».

И дальше:

«В. Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто укрывает или освобождает убийцу».

В «научных» же сочинениях двух сортов: в сочинениях, называемых юриспруденцией с своим уголовным правом, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывается то же самое еще с большей

ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно всё есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же *enfants terribles* этого учения, как знаменитый профессор Иенского университета Эрнст Геккель в своем знаменитом сочинении: «Естественная история миротворения», евангелии для неверующих, прямо высказывает это:

«Искусственный подбор оказывал весьма благоприятное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания. Как искусственный подбор, и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как «либеральная мера», отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов. Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества, подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивируемого сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесет полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества «борьбу за существование», но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества».

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желаю ему образумиться и ни в каком случае не хотел бы лишить [его] этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяца, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских. С одной стороны раздаются награды за убийства по 10 и по 25 рублей, с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их, как великих подвижников. Вольным палачам платят по 50 рублей за казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришел человек с просьбой передать ему дело исполнения казни, так как он возьмется сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось ли, или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело и душу...

Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал уже тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имел на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, самое благодетельное влияние. На этом случае я первый раз почувствовал, первое – то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе – то, что государственное устройство, невысказанное без убийств, несовместимо с христианством. И третье, что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь.

Примечания

#### ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

В апреле 1908 г. к Толстому обратился П. И. Бирюков, работавший в то время над вторым томом «Биографии» Л. Н. Толстого, с просьбой написать воспоминания об участии Толстого в 1866 г. в защите рядового Василия Шибунина.

Делу Шибунина Бирюков посвятил целую главу, перепечатав в ней из газеты «Право» (1903, стр. 2016) и речь Толстого, произнесенную им в суде (см. Приложение). Воспоминаниями Толстого Бирюков предполагал закончить эту главу.

Толстой выразил согласие и 1 мая частью написал сам, а частью продиктовал Н. Н. Гусеву начало воспоминаний в форме письма к П. И. Бирюкову. [128] 2 или 3 мая, исправляя машинописную копию этого начала, Толстой дописал окончание воспоминаний (см. описание рук. № 2), куда включил присланную ему в апреле того года Е. И. Поповым выдержку из книги Э. Геккеля «Мировые загадки», в которой смертная казнь оправдывалась с точки зрения естествознания.

В Дневнике 2 мая Толстой записал мысли, которые он развил в этом окончании: «Разве не ясно, какой полный невежда этот профессор Геккель. Каковы же его ученики? Возражать не стоит, возражение в евангелии, но они не знают его, безнадежно не знают, решив, что они выше его. А если люди так невежественны, что могут по закону убивать, то что же закон? И всё рухнет!» (т. 56, стр. 126).

Судя по дате на следующей рукописи (см. описание рук. № 3), Толстой работал над воспоминаниями и 4 мая.

6 мая Толстой отметил в Дневнике: «Дня четыре посвятил для воспоминаний о солдате для Поши. [129] Не очень дурно, но

задорно» (т. 56, стр. 116).

О дальнейшей работе Толстого над воспоминаниями свидетельств нет. Закончены они были 24 мая (авторская дата на последней рукописи).

Впервые «Воспоминания о суде над солдатом» были опубликованы с цензурными пропусками в книге: П. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», изд. «Посредник», М. 1908, стр. 94–104; полностью в сборнике: «Л. Н. Толстой. «Не могу молчать» и другие статьи о смертной казни», изд. «Единение», М. 1917, стр. 22–23.

В настоящем издании «Воспоминания о суде над солдатом» печатаются по рук. № 4.

#### ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 1 л. почтового формата и 1 л. 8°. Начало: «Милый др. П. И. Очень рад». Конец: «сам делал это». На обложке две даты Н. Н. Гусева: «1/V 08» и «10/V 08».

На листе почтового формата написано начало статьи; на листе 8° сделана вставка к несохранившейся копии с стенографической записи Н. Н. Гусева (см. описание рук. № 2).

2. Машинописная копия рук. N 1 и несохранившейся записи Н. Н. Гусева второй половины статьи под диктовку Толстого. 9 лл. 4°, 1 л. почтового формата и 4 отрезка (из них 1 л. почтового формата и 2 отрезка – автографы–вставки). Рукопись подверглась большой правке. Дописан конец статьи. Начало: «Жена знала его мальчиком». «Конец: «той неправды, в которой шла моя жизнь».

3. Машинописная копия рук. N 2. 6 лл. 4°, 3 лл. почтового формата и 15 отрезков (часть отрезков переложена из рук. № 2). Рукопись подверглась большой правке Толстого. Часть листов была разрезана и отрезки переложены из одной части статьи в другую. На 3 лл. почтового формата написана вставка в статью. Начало: «Расскажу, как всё это было». Конец: «и важное для моей жизни влияние». Под текстом статьи подпись и дата Толстого: «4 мая 1908. Я. П.». Та же дата проставлена Н. Н. Гусевым на обложке.

4. Машинописная копия рук. N 3. 22 лл. 4° (часть отрезков переложена из рук. № 3 и наклеена на лл. 4°). Л. 19 – выписка из книги Геккеля (см. историю писания), сделанная рукой Е. И. Попова. Последняя редакция статьи. Начало: «Милый друг Павел Иванович. Очень рад». Конец: «шла моя жизнь».

5. Рукописный материал. 3 л. 4° и 2 отрезка. Машинописные копии с исправлением Толстого, изъяты Толстым из рук. № 4.

#### Сноски

128. Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым», М. 1928, стр. 145.

129. П. И. Бирюков.

